

Часть первая

КОМБРЕ

I

Давно уже я стал ложиться рано. Иногда, едва только свеча была потушена, глаза мои закрывались так быстро, что я не успевал сказать себе: «Я засыпаю». И полчаса спустя мысль, что пора уже заснуть, пробуждала меня: я хотел положить книгу, которую, казалось мне, я все еще держу в руках, и задуть огонь; я не переставал во время сна размышлять о только что мною прочитанном, но эти размышления принимали несколько своеобразный оборот, — мне казалось, что я сам являюсь тем, о чем говорила книга; церковью, квартетом, соперничеством Франциска I и Карла V. Это представление сохранялось у меня в течение нескольких секунд по пробуждении; оно не оскорбляло моего рассудка, но покрывало, словно чешуя, мои глаза и мешало им отдать отчет в том, что свеча больше не горит. Затем оно начинало становиться мне непонятным, как после метемпсихозы, сознание прежнего существования; сюжет книги отрывался от меня, я был свободен приобщать себя к нему или нет; тотчас зрение возвращалось ко мне, и я бывал очень изумлен тем, что находил вокруг себя темноту, мягкую и успокоительную для моих глаз, но, может быть, еще больше для моего ума, которому она казалась чем-то беспричинным, непонятным, чем-то поистине темным. Я спрашивал себя, который может быть час; до меня доносились свистки поездов, более или менее отдаленные, и, отмечая расстояние, подобно пению птицы в лесу, они рисовали

мне простор пустынного поля, по которому путешественник спешит к ближайшей станции; и глухая дорога, по которой он едет, запечатлется в его памяти благодаря возбуждению, которым он обязан незнакомым местам, непривычным действиям, недавнему разговору и прощанию под чуждым фонарем, все еще сопровождающим его в молчании ночи, и близкой радости возвращения.

Я нежно прижимался щеками к мягким щекам подушки, полным и свежим, словно щеки нашего детства. Я чиркал спичкой, чтобы посмотреть на часы. Скоро полночь. Это пора, когда больной, который должен был отправиться в путешествие и которому пришлось слечь в незнакомой гостинице, разбуженный кризисом, радуется замеченной им под дверью полоске света. Какое счастье, уже утро! Через несколько мгновений встанут слуги, он может позвонить, к нему придут и подадут ему помощь. Надежда получить облегчение дает ему мужество переносить страдание. Как раз в эту минуту ему показалось, что он слышит шаги; шаги приближаются, затем удаляются. И полоска света, видневшаяся под дверью, исчезла. Это полночь; приходили гасить газ; последний слуга ушел, и придется всю ночь мучиться, не получая помощи.

Я снова засыпал, и иногда после этого у меня бывали лишь краткие пробуждения, во время которых я успевал только услышать потрескивание деревянных панелей, открыть глаза и запечатлеть калейдоскоп темноты, почувствовать, благодаря мгновенному проблеску сознания, сон, в который бывали погружены мебель, комната, все окружающее, которого я являлся лишь незначительной частью и с бесчувственностью которого я вскоре снова сливался. Или же, засыпая, я без усилия переносился в навсегда ушедшую эпоху моей ранней юности, снова переживая какой-нибудь из моих детских страхов, например то, что мой двоюродный дедушка оттаскает меня за вихры, страх, исчезнувший в день — дата для меня новой эры, — когда меня остригли. Я забывал об этом событии во время моего сна и снова вспоминал о нем вскоре после того, как мне удавалось проснуться, чтобы ускользнуть из рук двою-

родного дедушки; все же из предосторожности я совсем зарывался головой в подушку перед тем, как возвратиться в мир сновидений.

Иногда, подобно Еве, родившейся из ребра Адама, во время моего сна рождалась женщина из неудобного положения, в котором я лежал. Ее создавало наслаждение, которое я готов был вкусить, а мне казалось, что это она мне доставляла его. Тело мое, чувствовавшее в ее теле мою собственную теплоту, хотело соединиться с ней, и я просыпался. Остальные люди казались мне чем-то очень далеким рядом с этой женщиной, покинутой мною всего несколько мгновений тому назад; щека моя еще пылала от ее поцелуя, тело было утомлено тяжестью ее тела. Если, как это случалось иногда, у нее бывали черты какой-нибудь женщины, с которой я был знаком наяву, я готов был всего себя отдать для достижения единственной цели: вновь найти ее, подобно тем людям, что отправляются в путешествие, чтобы увидеть собственными глазами какой-нибудь желанный город, и воображают, будто можно насладиться в действительности прелестью грезы. Мало-помалу воспоминание о ней рассеивалось, я забывал деву моего сновидения.

Во время сна человек держит вокруг себя нить часов, порядок лет и миров. Он инстинктивно справляется с ними, просыпаясь, в одну секунду угадывает пункт земного шара, который он занимает, и время, протекшее до его пробуждения; но они могут перепутаться в нем, порядок их может быть нарушен. Пусть перед утром, после часов бессонницы, сон овладеет им во время чтения, в позе очень отличной от той, в которой он спит обыкновенно, тогда достаточно ему поднять руку, чтобы остановить солнце и повернуть его вспять, и в первую минуту по пробуждении он не узнает часа, ему будет казаться, что он сию минуту только прилег. Если же он заснет в еще более необычной и несвойственной ему позе, например после обеда, сидя в кресле, тогда в мирах, вышедших из орбит, все перепутается, волшебное кресло со страшной скоростью помчит его через время и пространство, и в момент, когда он поднимет веки, ему покажется, что он лег не-

сколько месяцев тому назад в другом месте. Но достаточно бывало, чтобы, в моей собственной постели, сон мой был глубоким и давал полный отдых моему уму; тогда этот последний терял план места, в котором я заснул, и когда я просыпался среди ночи, то, не соображая, где я, я не сознавал также в первое мгновение, кто я такой; у меня бывало только, в его первоначальной простоте, чувство существования, как оно может брезжить в глубине животного; я бывал более свободным от культурного достояния, чем пещерный человек; но тогда воспоминание — еще не воспоминание места, где я находился, но нескольких мест, где я жил и где мог бы находиться, — приходило ко мне как помощь свыше, чтобы извлечь меня из небытия, из которого я бы не мог выбраться собственными усилиями: в одну секунду я пробегал века культуры, и смутные представления керосиновых ламп, затем рубашек с отложными воротничками мало-помалу восстанавливали своеобразные черты моего «я».

Быть может, неподвижность предметов, окружающих нас, навязана им нашей уверенностью, что это именно они, а не какие-нибудь другие предметы, неподвижностью нашей мысли по отношению к ним. Ибо всегда случалось, что, когда я просыпался таким образом, деятельно, но безуспешно стараясь определить своим рассудком, где я, все вращалось вокруг меня во тьме: предметы, местности, годы. Тело мое, слишком онемевшее для того, чтобы двигаться, старалось, по форме своей усталости, определить положение своих членов, чтобы заключить на основании его о направлении стены, о месте предметов обстановки, чтобы воссоздать и назвать жилище, в котором оно находилось. Память его, память его боков, колен, плеч, последовательно рисовала ему несколько комнат, в которых оно спало, между тем как вокруг него, меняя место соответственно форме воображаемой комнаты, вращались в потемках невидимые стены. И прежде даже, чем мое сознание, которое стояло в нерешительности на пороге времен и форм, успевало отождествить помещение, сопоставляя обстоятельства, оно — мое тело — припоминало для каждого род кровати, место дверей, расположение окон, направление ко-

ридора, вместе с мыслями, которые были у меня, когда я засыпал, и которые я снова находил при пробуждении. Мой онемевший бок, пытаюсь угадать свое положение в пространстве, воображал себя, например, вытянувшимся у стены в большой кровати с балдахинном, и тотчас я говорил себе: «Вот как, я не выдержал и уснул, хотя мама не пришла пожелать мне покойной ночи», — я был в деревне у бабушки, умершего много лет тому назад; и мое тело, бок, на котором я лежал, верные хранители прошлого, которое уму моему никогда не следовало бы забывать, приводили мне на память пламя ночника из богемского стекла в форме урны, подвешенного к потолку на цепочках, камин из сиенского мрамора в моей спальне в Комбре, у моих бабушки и бабушки, в далекие дни, которые в этот момент я воображал себе настоящими, не представляя их себе точно, и которые я увижу яснее сейчас, когда совсем проснусь.

Затем воскресало воспоминание нового положения; стена тянулась в другом направлении — я был в своей комнате у г-жи де Сен-Лу, в деревне: Боже мой! Уже, по крайней мере, десять часов, вероятно, обед уже окончен! Я слишком затянул мой послеполуденный сон, которому предаюсь каждый вечер по возвращении с прогулки в обществе г-жи де Сен-Лу, перед тем как переодеться во фрак. Ибо много лет прошло после Комбре, где, в самые поздние наши возвращения, красные отблески заката видел я на стеклах моего окна. Другой род жизни ведут в Тансонвиле, у г-жи де Сен-Лу, другой род удовольствия получаю я, выходя только ночью и бродя при лунном свете по тем дорогам, где я играл когда-то на солнце; и комната, в которой я усну вместо того, чтобы одеваться к обеду, видна мне издали, когда мы возвращаемся; освещенное лампой окно ее служит единственным маяком в ночи.

Эти клочки воспоминаний, кружащиеся и смутные, никогда не длились больше нескольких секунд; часто моя кратковременная неуверенность в месте, где я находился, отличала друг от друга различные предположения, из которых она состояла, не лучше, чем мы обособляем, видя бегущую лошадь, последовательные положения, которые нам показывает

кинетоскоп. Но я мысленно видел то одну, то другую комнаты, в которых мне доводилось жить, и в заключение вспоминал их все в долгих мечтаниях, следовавших за моим пробуждением: зимние комнаты, где, улегшись в постель, зарываешь голову в гнездышко, которое устраиваешь себе из самых различных предметов: уголка подушки, ближайшей части одеял, конца шали, края кровати и номера вечерней газеты, и в заключение прочно скрепляешь все это вместе, согласно птичьим приемам, кое-как там примостившись; где, в морозную погоду, особенное удовольствие доставляет то, что чувствуешь себя отгороженным от внешнего мира (как морская ласточка, которая строит себе гнездо глубоко в земле, в земной теплоте), и где огонь поддерживается в камине всю ночь, так что спишь как бы укутанный широким плащом теплого и дымного воздуха, рассеяемого блеском вспыхивающих головешек, в каком-то неосязаемом алькове, теплой пещере, вырытой в пространстве самой комнаты, горячей и подвижной в своих термических очертаниях зоне, проветриваемой дуновениями, которые освежают нам лицо и исходят от углов, от частей, соседних с окном или удаленных от камина и потому охлажденных; комнаты летние, где так приятно слиться с теплой ночью, где лунный свет, проникнув через полуоткрытые ставни, бросает свою волшебную лестницу до самого подножия кровати, где спишь почти на открытом воздухе, как синица, раскачиваемая ветерком на кончике солнечного луча; иногда комната в стиле Людовика XVI, такая веселая, что даже в первый вечер я не был в ней слишком несчастен, и где колонки, легко поддерживавшие потолок, с такой грацией расступались, чтобы указать и приберечь место для кровати; иногда же, напротив, маленькая и такая высокая, пробуравленная в форме пирамиды в пространстве двух этажей и частью обшитая красным деревом, где с самой первой секунды я бывал внутренне отравлен незнакомым запахом ветиверии, убежденный во враждебности фиолетовых занавесок и наглom равнодушии стальных часов, которые стрекотали во весь голос, словно меня там не было; где странное и безжалостное зеркало на четырехугольных ножках, наискось перегораживая один из

углов комнаты, болезненно врезывалось в мягкую полноту привычного для меня зрительного поля пустым местом, которое являлось там неожиданностью; где мое сознание, часами сисясь раздаться, растянуться в высоту, чтобы приобрести в точности форму комнаты и заполнить доверху ее гигантскую воронку, страдало в течение многих тяжелых ночей, между тем как я лежал в своей постели с открытыми глазами, с болезненно напряженным слухом, задыхаясь от тяжелого запаха, с бьющимся сердцем, пока наконец привычка не изменяла цвета занавесок, не заставляла замолчать часы, не научала жалости косое и жестокое зеркало, не заглушала, а то и вовсе прогоняла запах ветиверии и заметно не уменьшала кажущуюся высоту потолка. Привычка! Искусная целительница, врачующая, правда, медленно и сначала равнодушно глядящая на наши страдания по целым неделям в помещениях, где мы временно пребываем, но которую, несмотря на все, так радостно бывает приобрести, ибо без привычки, при помощи одних только усилий разума, мы не могли бы сделать пригодным для жизни ни одно помещение.

Конечно, теперь я уже совсем проснулся, тело мое описало последний круг, и добрый ангел уверенности остановил все кругом меня, уложил меня под мои одеяла, в моей комнате, и поставил приблизительно на свои места в темноте мой комод, мой письменный стол, мой камин, окно на улицу и две двери. Но напрасно знал я теперь, что не нахожусь в жилищах, чей образ, представленный мне на мгновение неведением пробуждения, пусть не был отчетливым, все же заставил поверить в их возможное присутствие; памяти моей дан был толчок; обыкновенно я не пытался заснуть сразу же после этого; я проводил большую часть ночи в воспоминаниях о нашей прежней жизни, в Комбре у моей двоюродной бабушки, в Бальбеке, в Париже, в Донсьере, в Венеции и в других городах, припоминая места и людей, которых я знал там, то, что я сам видел из их жизни, и то, что мне рассказывали другие.

В Комбре, задолго до момента, когда мне нужно было ложиться в постель и оставаться без сна, вдали от матери и ба-

бушки, моя спальня каждый вечер становилась пунктом, на котором сосредоточивались самые мучительные мои заботы. Так как вид у меня бывал очень уж несчастный, то кому-то из моих родных пришла в голову мысль развлекать меня волшебным фонарем, который, в ожидании обеденного часа, приспособляли к моей лампе: наподобие первых архитекторов и живописцев по стеклу готической эпохи, он заменял непрозрачные стены неосязаемыми радужными отражениями, сверхъестественными многокрасочными видениями, похожими на расписные церковные витражи, качавшиеся и появлявшиеся на миг. Но печаль моя лишь возрастала от этого, ибо простое изменение освещения разрушало привычку, приобретенную мною к моей комнате, благодаря которой, если не считать мучительных часов отхода ко сну, она стала для меня выносимой. Теперь я больше ее не узнавал и чувствовал себя в ней неспокойно, как в номере гостиницы или «шале», куда я приехал бы в первый раз, прямо с поезда.

Припрыгивающим шагом своей лошади Голо, исполненный злодейских замыслов, выезжал из маленького треугольного леса, бархатившего темной зеленью склон холма, и приближался, сотрясаясь, к замку бедной Женевьевы Брабантской. Этот замок был рассечен по кривой линии, являвшейся не чем иным, как границей одного из стеклянных овалов, вставленных в рамку, которую задвигали в щель фонаря. Это был только кусок замка, и пред ним расстился луг, на котором с задумчивым видом стояла Женевьева, одетая в платье с голубым поясом. Замок и луг были желтые, и я знал заранее их цвет, потому что, еще до появления картины на стене, отливающие старым золотом звуки слова *Брабант* с очевидностью показывали мне его. Голо на мгновение останавливался, чтобы с грустным видом выслушать объяснение, которое громко прочитывала моя двоюродная бабушка и которое он, казалось, понимал в совершенстве, послушно согласуя с указаниями текста свою позу, не лишенную некоторой величественности; затем он удалялся тем же припрыгивающим шагом. И ничто не в силах было остановить его медленное движение верхом на лошади. Если фонарь шевелили, я видел,

как лошадь Голо продолжает двигаться по оконным занавескам, выпячиваясь на их складках и прячась в углублениях. Тело самого Голо, из вещества столь же сверхъестественного, как и вещество его лошади, приспособлялось к каждому препятствию, к каждому встречавшемуся на его пути предмету, делая из него свой остов и наполняя своим содержанием, будь то даже ручка двери, к которой тотчас прилаживались и на которую неодолимо наплывали его красное платье или его бледное лицо, все такое же благородное и такое же меланхоличное и, по-видимому, нисколько не смущаемое подобными перевоплощениями.

Правда, я находил очаровательными эти световые образы, излучавшиеся, казалось, из мерovingского прошлого и окружавшие меня отблесками такой седой старины. Но мне причиняло какое-то невыразимое беспокойство это вторжение тайны и красоты в комнату, которую я с течением времени наполнил своим «я» до такой степени, что обращал на нее так же мало внимания, как на самого себя. Когда прекращалось анестезирующее влияние привычки, я начинал размышлять, начинал испытывать невеселые чувства. Эта дверная ручка моей комнаты, отличавшаяся для меня от всех других дверных ручек мира тем, что, казалось, открывала сама и мне не приходилось поворачивать ее, до такой степени манипуляции с нею сделались для меня бессознательными, — вот она служила теперь астральным телом Голо. И как только раздавался звонок к обеду, я торопливо бежал в столовую, где большая висючая лампа, ничего не ведавшая о Голо и Синей Бороде, но знавшая моих родных и тушеное мясо, давала свой свет каждый вечер; я спешил упасть в объятия мамы, которую несчастья Женевьевы Бранбургской делали мне еще более дорогой, тогда как преступления Голо побуждали тщательнее исследовать мою собственную совесть.

После обеда, увы, я должен был сейчас же покинуть маму, которая оставалась разговаривать с другими, в саду, если была хорошая погода, или в маленькой гостиной, куда все удалялись, если небо хмурилось. Все, кроме моей бабушки, которая находила, что «сидеть в деревне в комнатах — преступ-

ление», и постоянно вступала в спор с моим отцом в дни, когда шел сильный дождь, так как отец запрещал мне оставаться на дворе и отсылал в мою комнату почитать. «Таким способом вы не сделаете его крепким и энергичным, — говорила она печально, — особенно этого малыша, которому так необходимо закалить свои силы и волю». Отец пожимал плечами и бросал взгляд на барометр, так как интересовался метеорологией, мать же, избегая поднимать шум, чтобы не сердить его, смотрела на него с нежной почитательностью, но не слишком пристально, чтобы не казалось, будто она хочет проникнуть в тайну его превосходства. Но что касается бабушки, то во всякую погоду, даже когда дождь лил как из ведра и Франсуаза поспешно вносила в комнаты драгоценные ивовые кресла из страха, как бы они не намокли, ее можно было видеть в пустом саду, под проливным дождем, откидывающей назад растрепанные пряди седых волос, чтобы лучше напитать лоб целительной силой ветра и дождя. Она говорила: «Наконец-то можно дышать!» — и обегала намокшие дорожки, — проведенные слишком симметрично, по собственному вкусу, лишенным чувства природы новым садовником, которого отец мой спрашивал с утра, установится ли погода, — своими мелкими шажками, восторженными и неровными, которые размерялись скорее разнообразными чувствами, возбуждавшимися в душе ее опьянением грозью, могуществом гигиены, уродливостью моего воспитания и симметрией сада, нежели неведомым ей желанием предохранить свою юбку цвета сливы от брызг грязи, испещривших ее до такой степени, что горничная при виде ее всегда бывала озадачена и приходила в отчаяние.

Если эти рейсы бабушки по саду происходили после обеда, то одна вещь способна была заставить ее вернуться, именно: голос моей двоюродной бабушки, кричавшей ей: «Батильда! Иди скорее, запрети своему мужу пить коньяк!» — в один из моментов, когда круговое движение ее прогулки периодически приводило ее, словно насекомое, к освещенным окнам маленькой гостиной, где были сервированы на ломберном столе ликеры. Действительно, чтобы подразнить ее (она вносила

в семью моего отца дух настолько своеобразный, что все подшучивали над ней и дразнили ее), моя двоюродная бабушка побуждала дедушку, которому спиртные напитки были запрещены, выпить несколько капель коньяку. Бедная бабушка входила и горячо упрашивала своего мужа не пробовать коньяку; он сердился, выпивал, несмотря на уговоры, свой глоток, и бабушка уходила, печальная, обескураженная, но с улыбкой на лице, ибо она была настолько смиренна сердцем и добра, что ее нежность к другим и пренебрежение к себе самой и своим страданиям выливались в ее взгляде в улыбку, которая, в противоположность тому, что видишь на лице большинства людей, содержала иронию лишь по отношению к себе самой, для нас же всех глаза ее посылали словно поцелуй: она не могла смотреть на тех, кого очень любила, не лаская их нежно взглядом. Эта пытка, которой подвергала ее моя двоюродная бабушка, это зрелище тщетных уговоров и слабости бабушки, наперед побежденной и напрасно пытающейся отнять у дедушки рюмку с коньяком, принадлежали к числу явлений, к которым впоследствии привыкаешь до такой степени, что смотришь на них со смехом и сам довольно решительно и весело становишься на сторону преследователя, убеждая себя, что тут нет речи о настоящем преследовании; однако в те времена все это наполняло меня таким отращением, что я бы с удовольствием отколотил мою двоюродную бабушку. Но как только я слышал: «Батильда! Иди скорее, запрети твоему мужу пить коньяк!» — меня охватывало малодушие, и я делал то, что все мы делаем, ставши взрослыми, когда перед нами открывается зрелище страданий и несправедливости: я предпочитал не видеть его; я поднимался поплакать на самый верх дома, под самую крышу, в комнату, расположенную рядом с классной и наполненную запахом ириса, а также дикой черной смородины, выросшей среди камней наружной стены и просунувшей ветку с цветами в полуоткрытое окно. Имевшая назначение более специальное и более прозаическое, комната эта, откуда днем открывался вид до замковой башни Руссенвиль-ле-Пен, долгое время служила мне убежищем, — несомненно потому, что она